

5
русс

Мировая история/ революция: диалектика че- поражения

Владимир Рыжковский

*Аспирант факультета истории, Джорджтаунский университет
ICC 600 37th and O Streets, N.W., Washington D.C., USA 20057
E-mail: vryzhkovskiy@gmail.com*

Мировая история как революция: Борис Поршнев и опыт диалектического поражения¹

Аннотация

Данная статья дает представление о «Критике человеческой истории», неизвестном прежде труде советского марксистского мыслителя Бориса Поршнева — важнейшем вкладе в интеллектуальный жанр всемирной истории, сделанный в советскую эпоху. Поршнеvский синтез негативной диалектики и исторического материализма

¹ Выражаю благодарность Иване Баго, чья редакторская помощь подоспела в момент, когда она была нужнее всего.

включил негативность поражения революции в сталинистской России в радикальную телеологическую перспективу, в которой всемирная история рассматривалась как отдельная когнитивная и политическая революция.

В статье дается представление о многочисленных институциональных, культурных и идеологических контекстах, связанных с поршневым переживанием поражения революции в советское время. Делается акцент на необходимости исторического подхода к апроприации интеллектуального наследия революции и подчеркивается актуальность поршневыской мысли для современных философских, антропологических и исторических дискуссий.

Ключевые слова

Поршнев, русская революция, мировая история, философия истории, исторический материализм

Пусть кто хочет жалеет об истории.

Ее уничтожение, процесс коммунизма — это то счастье, к которому рвалось человечество все сильнее в течение последних тысячелетий <...> Каждый будет счастлив, поскольку он будет участвовать в этом движении, и несчастлив — поскольку не будет. Других критериев «хорошего» и «плохого» нет и не должно быть.

Борис Поршнев

Многие участники русской революции рассматривали ее как всемирно-историческое событие. Каким бы простым ни казалось подобное утверждение, оно требовало пересмотра не только места октября 1917-го в истории, но и того вызова, который был брошен пониманию и «мира», и «истории» — понятий, глубоко укорененных в западных нарративах развития и прогресса. Одержавшие победу большевики видели свой триумф неизбежным завершением череды европейских освободительных восстаний, начало которым положила Французская революция, — это вписывало их в телеологическую перспективу западной истории. Однако место и обстоятельства русской революции делали не слишком уместным прямой перенос революционных понятий в Россию — революционный взрыв в отсталой крестьянской стране на окраине Европы был как минимум аномальным. Для строителей нового революционного мира он стал дерзким заходом на неизвестную политическую и концептуальную

территорию. Этот вызов сопровождался попыткой переосмыслить и переписать мировую историю в альтернативном, небуржуазном и незападном ключе и был неотделим от этой попытки. Однако переопределение счастья как коммунизма, уничтожающего историю (приведенное в начале этого текста), появилось далеко не в первое десятилетие радикальных социальных, интеллектуальных и эстетических экспериментов. Оно было втайне записано историком и философом Борисом Поршневым во время сталинского контрреволюционного отступления, когда всемирная история была институционализована и писалась в структурах громадной Советской Академии Наук, а методологические амбиции исторической науки были ограничены обоснованием положения СССР в «авангарде человечества» (Лукин 1937: 19). Сам процесс написания всемирной истории в советской России содержал парадоксы институционализации революции и диалектические циклы революционных прорывов и откатов. Незавершенный Поршневым проект «Критики человеческой истории», откуда взята цитата выше, был суровым жизненным испытанием в попытке постичь этот парадокс. Профессиональный историк, вписанный в советскую академию, пытался создать философию истории, которая могла бы определить границы революционного проекта и одновременно сохранить его обещания. Его синтез негативной диалектики и исторического материализма вписал негативность поражения революции в сталинистской России в радикальную телеологическую перспективу. Мировая история рассматривалась как единая когнитивная и политическая революция, но в то же время — как «однократный акт в развитии вселенной» (НИОР РГБ ф.684, к.17, е.х. 6, л.37об). Человечество, объединенное как вид глупостью и разобщением, прогрессирует циклами прорывов и откатов до преодоления своей антагонистической сущности — этот момент, однако, совпадает с концом человечества и человеческой истории, будучи выходом в некий высший, космический порядок.

Поршневу исправлял и переписывал свой проект много раз в период между серединой 1930-х и ранними 1970-ми, словно пытаясь отредактировать сценарий сошедшей с рельс революции. Опираясь на оставшиеся архивные материалы, я рассмотрю уникальную, всемирно-историческую диалектику Поршнева в свете исторического пути революции и последовательного расхождения его радикальных идей с революционными мирами, в которых они зародились. Я рассчитываю не только отметить актуальность этих идей в нынешнем политическом и интеллектуальном контексте, но и подчеркнуть нашу включенность в историю, масштаб единства которой сместился от «мирового» к «глобальному» — в тот самый момент, когда постгуманистическое, и даже постисторическое кажутся ближе, чем когда-либо.

Критика человеческой истории в тени революционного поражения

Всемирно-историческое событие русской революции было и высвобождением темной энергии масс, и раскрытием утопических фантазий радикальной интеллигенции, мечтавшей о преображении этих масс и слиянии с ними в коммунистическом будущем (Halfin 2000). Результатом институциональной и политической переплавки этих двух революционных тенденций в котле Первой мировой и Гражданской войн стала странная гибридная «диктатура пролетариата» профессиональных революционеров и интеллектуалов посреди огромного моря крестьянства, а не законченная социальная или экономическая трансформация. После десятилетия неопределенности и практических трудностей в организации политического управления в крестьянской стране появилось изобилие разных взглядов на революционное будущее. Развитие «культуры» с ее потенциалом ковать революционное сознание было одной из основных ставок большевиков в годы НЭПа. Этот период отката породил двусторонний обмен художественных и научных сообществ с миром политики. В 1920-х множество нетрадиционных ученых и художников разделяло с большевиками недовольство старыми образовательными институтами, академическими элитами и буржуазными формами знания, а также стратегии изменения этих структур (часто насильственные). Были созданы новые институциональные пространства, в которых прогрессивные идеи и революционная политика смешивались в единой практике. Интеллектуальное развитие Поршнева и генеалогию его идей нельзя понять вне экспериментального ландшафта, который был результатом этого слияния.

В начале 1920-х Поршнеv сотрудничал с левым театром Михаила Ромма, посещал полуофициальные философские семинары и странствовал по московским академическим институтам, которые постоянно реструктурировались. В 1924 году, завершая обучение на кафедре педагогики факультета социальных наук Московского государственного университета, он оказался в главной лаборатории культурной революции — коммунистической академии. В 1920-х там экспериментальным путем выводились принципы и практики новой пролетарской науки, ставившей под вопрос устаревшие педагогические методы (предпочитая коллективные подходы индивидуальным), традиционные академические разделения (между естественными науками и гуманитарными), а в особенности — «буржуазные» разграничения между научной объективностью и политической ангажированностью. В качестве сотрудника Института советского строительства Поршнеv писал пропагандистские

брошюры о «культурности» и новом сознании масс (Поршневу 1926). Работа этого «третьего» культурного фронта революции доказывала партийным интеллектуалам, что недостаточно просто применять принципы «истмата» (исторического материализма), пытаясь раскрыть тайны учебной подготовки, политической мобилизации, власти и сознания, определив вклад большевиков в исследования языковых, символических, психологических и бытовых областей надстройки. Интерес к этим темам вместе с желанием раскрыть их в более историческом и теоретическом ключе привел Поршнева в другую экспериментальную институцию 1920-х — Институт истории Российской ассоциации научно-исследовательских институтов общественных наук (РАНИОН). Эта уникальная форма коллективной интеллектуальной деятельности соединяла хранителей дореволюционных стандартов знания и сторонников радикальных интеллектуальных преобразований — два лагеря вступали в диалоги и споры. На кону стояло само понимание истории: должна ли история рассматриваться как свободная от оценочных суждений совокупность фактов, исследовательских вопросов и эмпирической базы (как считали приверженцы дореволюционных подходов) или (как считали их противники) — как политически ангажированная классовая и материалистическая интерпретация? По иронии судьбы ключевые большевистские историки в институции, ставшие наставниками Поршнева, в основном интересовались идеями. Например, Вячеслав Волгин (специалист по истории социалистических идей и французского Просвещения, один из руководителей Народного комиссариата просвещения) считал, что советские попытки переосмыслить и переписать историю продолжали линию универсалистских амбиций Просвещения, которые он планировал реализовать в создании новой советской энциклопедии (Kassof 2005). Методологически эта идея была довольно смутной и основывалась в большей степени на риторическом отказе от партикулярности западнцентричных гегельянских нарративов всемирной истории. Но все же она оставалась гегельянской — большое значение приписывалось развитию идей, науки и техники. Наиболее инновационные советские попытки переосмыслить историю велись в похожем направлении — постичь тотальность истории через материалистическую интерпретацию отношений между сознанием, практикой, а также социальной и политической реальностью.²

Испытав это влияние во время работы в РАНИОН, Поршневу сам

² В этом отношении можно вспомнить психологию Выготского, или даже более радикальные попытки Николая Марра объяснить развитие когнитивных форм человеческого сознания и языка нелинейным (небуржуазным и незападным) образом.

начал экспериментировать с написанием истории идей как всемирной истории. Во многом он вдохновлялся подходом Михаила Бакунина, в котором ценил переплетение политической и интеллектуальной истории с историей спонтанного роста сил народа, массы (Кондратьева 2012). Поршнев исследовал эту соотнесенность в широком спектре исторических контекстов, от текстов Руссо до истории русского анархизма, славянофильства и популизма — все они рассматривались как внутренне непротиворечивые части единого исторического целого форм человеческой мысли. Даже несмотря на то, что они резко отбрасывались им как «ошибочные», «буржуазные», «реакционные» (АРАН Ф. 359, Оп. 3, Д. 62, Л. 215, 227–28). Итоговая работа, написанная им в РАНИОН, «О социальных основаниях шаманизма у якутов» (1929) экспериментировала с такой гегельянски понятой историей идей — этот текст предвосхитил ключевые философские темы и раскрыл амбициозность его зарождающейся интеллектуальной программы. Кажется, что этнографический материал для этого исследования подбирался почти случайно, а проблема происхождения загадочной «социально-анархической фигуры черного шамана» была лишь поводом для постановки проблемы «иррационального, неразумного вообще в истории человеческой культуры и человеческой мысли» (АРАН Ф. 359, Оп. 3, Д. 62, Л. 234). Поршнев считал, что грубых материалистических объяснений шаманизма недостаточно для ответа на вопрос о его происхождении. Все они исходили из упрощенного понимания иррациональности — она понималась исключительно как следствие неразвитости первобытного сознания, а само существование феномена шаманизма — как воплощение ограниченности материальных условий первобытных людей (АРАН Ф. 359, Оп. 3, Д. 62, Л. 237). Пересматривая марксистское понимание надстройки как отражения материального мира, Поршнев предлагал исследовать историю материальности иррационализма (его «социально-неврологическую, биологическую и физиологическую природу») и идеологии, проистекающей из него (АРАН Ф. 359, Оп. 3, Д. 62, Л. 254). Однако на этом он не останавливался, предлагая рассматривать историю иррациональности в качестве ключа к пониманию определенной формы и направления, принятых человеческой историей. Так как иррациональность шла вразрез с рациональностью биологических форм жизни, ее можно рассмотреть как начало социального и человеческого *par excellence*. Конечно, Поршнев не пытался ответить на вопрос, как именно произошел скачок от биологического существования человека к социальности человечества. Но он настаивал на том, что в драматургии шаманского сеанса («особой формы гипноза и внушения») (АРАН Ф. 359, Оп. 3, Д. 62, Л. 240), выражаемой звуками, словами и жестами, можно проследить медленное вызревание форм человеческого сознания, идео-

логии, религии и власти. В этом отношении Поршневу считал именно язык основным социофизиологическим механизмом формирования власти и самой возможности человеческой мысли. Чтобы объяснить происхождение разума, по его мнению, нужно было прекратить

блуждать в лабиринте гипотез и произвольных конструкций и начать рассматривать первобытную речь не в качестве односторонней реакции человека на события внешнего мира <...> но прежде всего в качестве общественного человеческого отношения, <...> основное содержание которого заключается в установлении определенной непосредственной зависимости между людьми — а следовательно и в их общественном противопоставлении друг другу (АРАН Ф.359. Оп.3 Д.62 Л.244).

Доклад заканчивался амбициозным утверждением: «История, если не понимать ее просто как изменение во времени, вовсе не является простым фактом и сама требует еще своего обоснования и доказательства» (АРАН Ф.359, Оп. 3, Д. 62, Л. 266). Однако к началу 1930-х такая повестка расходилась с курсом революционного проекта, принятым при Сталине, и поиски Поршневым теоретического обоснования истории перенесли из открытых экспериментальных пространств 1920-х в закрытое пространство импровизированного кабинета, обустроенного им в московской коммуналке. Сталинский режим использовал историю только для обоснования жестокой политической системы, построенной на соединении дореволюционных традиций и революционных идей и практик. Вместе с тем, контрреволюционный откат не сразу свел на нет институциональные и интеллектуальные эксперименты 1920-х. Сначала они были смешаны с консервативными эпистемологическими и административными структурами дореволюционной академии, а затем получившаяся симбиотическая структура была поставлена под строгий идеологический контроль (David-Fox 2015: 133–59). Новые обстоятельства вынудили Поршнева перестать развивать свою междисциплинарную и философскую программу и переквалифицироваться в профессионального историка. Выбранная тема — народные восстания раннего Нового времени во Франции — отражала давнюю симпатию к анархистским и популистским течениям, в то же время мощно резонируя с популистским поворотом в сталинском государстве второй половины 1930-х. Проекты Поршнева, финансируемые государством, позволили ему быстро подняться по карьерной лестнице советского академического мира — он стал профессором МГУ и научным сотрудником Института истории, ответственного за написание всемирной истории для Сталина.

Черновые версии первых глав тайной рукописи, «Критики чело-

веческой истории» (далее — КЧИ) были написаны в 1938 году — в тот самый момент, когда из печати вышел главный текст, доказывающий историческую неизбежность сталинской утопии. «Краткий курс» в самом деле подвел телеологический итог двум десятилетиям революционных волнений — в тексте КЧИ непросто найти открытую полемику с ним или прямую критику сталинизма.³ Более того, Поршнев смотрел на сталинизм как на неизбежный откат в последовательности революционных циклов, которые составляли историю человечества как историю «одной революции», не считая его искажением революционного идеала. «Революции», известные историкам (включая русскую революцию), были «лишь временными победами, после которых наступает период меньшего напора, а затем — новый подъем на более высокой основе» (НИОР РГБ Ф. 684, К. 27, Е.Х.15, Л. 24Об). Каждая «революция, известная историкам» — это связующее звено в цепи научного и политического развития человечества. Гегель разработал свою систему в ответ на импульсы Французской революции, Маркс преобразил наследие Гегеля, отвечая на революционный энтузиазм 1848 года. Для Поршнева, который имплицитно считал свой проект связующим звеном в этой цепи, результаты русской революции вскрыли внутренние интеллектуальные противоречия политического проекта освобождения человечества. КЧИ задумывалась как решение этой интеллектуальной задачи, необходимое для возможности завершить революцию.

Чтобы постичь интеллектуальный провал революции, в первую очередь нужно было исследовать исторические ограничения марксизма как доктрины преобразования человечества. Поршнев утверждал, что главная проблема марксизма — это неспособность схватить тотальность истории и единство человечества, в условиях его дробления на группы, классы и нации. Именно этот момент был причиной ошибочного приписывания универсальной значимости сегменту «пролетариата», определяемому в качестве субъекта истории, и постреволюционной консолидации другого ограниченного «мы», «советского народа» (НИОР РГБ Ф. 684, К. 17, Е.Х. 2, ЛЛ. 15–24). Сталинистскую версию марксизма (равно как и самого Маркса) часто обвиняют в проповедовании телеологического взгляда на историю. Тем более парадоксальным кажется следующий вердикт Поршнева: провал марксизма в попытке вообразить тотальность истории и единство человечества был связан с нехваткой четко определенных телеологических понятий начала и конца истории. Поэтому первая, логическая часть КЧИ должна была восполнить этот концеп-

³ Только дневниковая запись Поршнева 1952 года отражает его критическое отношение к идеям Сталина об экономических основаниях коммунизма. См.: НИОР РГБ Ф. 684, К. 17, Е.Х. 2, ЛЛ. 3–4, 22.

туальный недостаток и представить телеологические пределы человеческой истории через разработку этих ключевых понятий.

Сконструировать их можно было только негативным путем, так как было ясно, что «понятие конца истории остается в значительной степени пустым». Несмотря на это, Поршневу утверждал, что «по эту сторону предела должна остаться вся “социальная”, “культурная” и “духовная” сторона человека — в отличие от “природной” или “материальной”» (НИОР РГБ Ф. 684, К. 17, Е.Х. 6, ЛЛ. 15–16). Определенное таким образом понятие конца истории позволило указать на ее начало:

Правда, о нем мы пока можем сказать так же мало; мы можем лишь определить, что люди как биологический вид существовали до начала истории, а также, что их «производительные силы», т. е. характер их отношения к окружающей природе, отличны от таковых в конце истории или после ее конца».

Идея двух границ, между которыми обнаруживает себя человеческая история, предполагала, что

все содержание человеческой истории можно представить себе как сплошной процесс, состоящий в движении от начала к концу, следовательно, как цельный и законченный процесс, единый во времени. Но так как то, что лежит в начале, и то, что лежит после конца, не тождественно одно другому, то следовательно этот процесс состоит в каком-то превращении (НИОР РГБ Ф. 684, К. 17, Е.Х. 6, ЛЛ. 15–16).

Чтобы установить содержание этого превращения, Поршневу вернулся к разграничению между разумом и природой, впервые выдвинутому в историографии Просвещения и позднее популяризованному Гегелем. До середины восемнадцатого века природная и человеческая история рассматривались качественно едиными, в чем нашло отражение влияние христианских вселенских историй (Feldner 2003: 15–17). Секуляризованное Просвещение, напротив, представляло человеческую историю как нечто качественно отличное от природы (в силу того, что человечество обладает разумом). Поршневу не удовлетворяли статичные концепции Просвещения, утверждавшие человеческое сознание неизменным в ходе истории. Поэтому он решил ввести в них диалектическую негативность. В качестве истока человечества он рассматривал не человеческий разум, а наоборот — патологическую (с точки зрения природы) способность человеческого сознания смещаться в сторону абсурдности. Он считал, что человечество правильнее определять не через предполагае-

мое единство, а через неоспоримые факты его расколоти. Когда превращение человека, его история, завершены, то перестает существовать «не биологический вид *homo*, но — субстанция, которая объединяет человечество <...> бесконечное разнообразие типов связей между людьми в форме разрыва связи между ними» (НИОР РГБ Ф. 684, К. 17, Е.Х. 1, ЛЛ. 43–45). Используя эти негативные определения, Поршнеv пытался переписать просвещенческий нарратив прогресса в диалектическом ключе, располагая исчезновение человеческого сознания (негативно определенного как неразумное) и человечества (негативно определенного как социально разобщенное) в «конце истории».

Систематическое использование негативной диалектики свидетельствовало о мощном влиянии Гегеля. Однако, в отличие от немецкого философа Поршнеv считал, что телеология сознания не исчерпывается простой теодицеей духа. Для него это был материалистичеcкий процесс, составленный в рамках истории действиями ее расщепленного субъекта — человечества. Разрабатывая свою материалистическую телеологию (не)разумного, Поршнеv опирался на одну из наиболее радикальных концепций, выплавленных в котле русской революции — «теорию новой биологии» Эммануила Енчмена (НИОР РГБ Ф. 684, К. 27, Е.Х. 17, Л. 46об; Ф. 684, К. 17, Е.Х. 1, Л. 125–126, 226).

Енчмен в своей теории начала 1920-х рассматривал идею человеческого разума как эксплуататорскую, созданную и используемую классом угнетателей для предотвращения освобождения масс. Победа революции, согласно Енчмену, должна привести к исчезновению разума, философии, искусства и науки, возвращая человечество в состояние единства, поддерживаемого природными рефлексамми (Jogavsky 1961: 93–97). Енчмен в начале 1920-х своими идеями попал в идеологическое ядро революционного проекта — беспокоившие всех вопросы взаимоотношений между сознанием и массами, между элитистским интеллектуализмом революции и народным обожествлением революционной трансформации. Утверждения Енчмена получили значительную поддержку политически активной и довольно широкой аудитории радикальных студентов коммунистических учебных институтов, а большевистскими руководителями были раскритикованы как знак идеологического вырождения. Поршнеv внимательно следил за политической кампанией против Енчмена в свои студенческие годы. Он понимал нехватку философской строгости в этих теориях, но все же смог использовать их революционный потенциал и — что особенно важно — развить наиболее провокативное утверждение о том, что сама идея существования человеческого разума носит эксплуататорский характер. Однако Поршнеv считал, что для понимания естественнонаучных механизмов, регулирующих процессы в человеческом сознании, необходимо

в первую очередь изучить работу этих механизмов у истоков социальной эксплуатации. Подобный подход (и в особенности его техническая реализация) не появился бы без открытий в областях лингвистики, психологии и физиологии, сделанных в постреволюционное десятилетие. Опираясь на новаторские исследования Льва Выготского, Алексея Ухтомского и Николая Марра, Поршневу рассматривал сознание как отличное и от кантовской трансцендентальной машины, и от простой совокупности материальных рефлексов. Оно было для него, скорее, динамическим социальным, физиологическим, психологическим и историческим отношением, вписанным в тотальность человеческой истории, противоречивой по своей сути. В этой точке критику разума стало возможным трансформировать в критику всемирной истории (НИОР РГБ Ф. 684, К. 17, Е.Х. 4, Л. 1; Е.Х. 6. Л. 13).

В своих заметках к КЧИ Поршневу отмечает, что понятие конца истории настолько же важно для его проекта, как понятие начала было важно для Гегеля (НИОР РГБ Ф. 684, К. 17, Е.Х. 4, Л. 1; Е.Х. 6. Л. 69). Поршневу считал идею конца истории определяющей для понимания мировой истории как тотальности (НИОР РГБ Ф. 684, К. 17, Е.Х. 4, Л. 1; Е.Х. 6, Л. 45). Во второй части КЧИ Поршневу пришлось разобраться с гегелевской метафизикой на ее территории. Проблема происхождения человечества, решение которой было необходимо для продуманной телеологической концепции всемирной истории, решалась им с помощью философского и естественнонаучного подходов. Для этого ему пришлось еще раз вернуться к разделению между человеческой и естественной историей, отмечая, что оно всегда (несмотря на методологическую пользу) рассматривалось как само собой разумеющееся. Проводя слишком резкую грань между животным и человеческим, историография и философия Нового времени (включая марксизм) воспроизводила буржуазный антропоцентризм Просвещения — противопоставляя готового человеческого индивида неподвижной и враждебной природе. Переосмыслить происхождение человеческого с неантропоцентричной (небуржуазной) точки зрения значило для него рассмотреть природу в качестве действующего лица, а не пассивного фона.

Согласно Поршневу этот процесс проходил в два этапа, или инверсии. Первая инверсия была связана с биолого-физиологической мутацией одного из видов обезьян, вызванной изменением рациона питания. Она создала *биологическое* единство человеческого вида. Поршневу рассматривал эту инверсию как ничем не предопределенную часть естественной истории, детально описывая первобытное время с доисторическими реками и озерами, скитающимися стадами мамонтов, опасными хищниками, птицами и рыбами (НИОР РГБ Ф. 684, К. 17, Е.Х. 3, Л. 6–10; НИОР РГБ Ф. 684, К. 17, Е.Х. 5, Л. 7–60).

В результате этой инверсии, которая шла вразрез с законом естественного отбора, во внутривидовом поведении начал проявляться иррационализм, выраженный главным образом в феноменах имитации и передачи звуковых сообщений. Только вторая инверсия, последовавшая далее, стала началом человеческой истории, человеческого сознания и социальности — относительная биологическая стабильность была здесь достигнута в результате консолидации единичных особей в отдельные сообщества. Согласно Поршневу, человеческая социальность появилась, парадоксальным образом, в результате разделения человечества и его усилившегося дробления на множества противопоставленных рядов «нас» и «их» (племен, этнических групп, обществ, классов, полов), поддерживаемых запретами. Человечество появилось только в результате отрицания единства биологического вида человека (НИОР РГБ Ф. 684, К. 17, Е.Х. 3, Л. 23).

Воплощением этой второй инверсии, сформировавшей социальность, стал уникальный исторический и материальный медиум — язык, эта принуждающая власть звука, раскрывающаяся на границах между человеческими группами и основанная на драматургии внушения и сопротивления внушению, подчинения чему-то и свободе от чего-то (НИОР РГБ Ф. 684, К. 17, Е.Х. 3, Л. 1–23; Е.Х. 4, Л. 6–10). Проблематизация медиума языка стала основанием для изучения «невидимой ткани человеческого единства в разделенности», а также негативного и эксплуататорского истока человеческого сознания, человеческого труда и человеческого общества (НИОР РГБ Ф. 684, К. 17, Е.Х. 1, Л. 44). Поршнев считал язык ужасающим инструментом массового подчинения, позволяющим смотреть на людей как на нелюдей. Однако, в диалектически взрывной негативности слова, коренящейся на уровне физиологии, Поршнев увидел первичный двигатель исторического движения от иррациональности незнания к знанию, от состояния подавления к состоянию освобождения, от изначальной реальности разделения к постижению единства человечества через разрыв.

Две части КЧИ — взрывная смесь эмпирической строгости и философских размышлений — определяли пределы человеческой истории, позволив Поршневу очертить ряд тем, которые можно было развивать дальше в амбициозных и взаимосвязанных исследовательских программах. На самом общем уровне Поршнев предполагал, что его телеологический подход позволял рассматривать человеческую историю как «однократный акт в развитии вселенной» и мог быть использован в качестве концептуального основания для разработки закономерностей нового типа, отличных от повторяющихся естественнонаучных закономерностей, функционирующих в природе (НИОР РГБ Ф. 684, К. 17, Е.Х. 1, Л. 53–54). С помощью этой

идеи неповторимых закономерностей можно было в той же телеологической манере синтезировать историю человечества, жизни, природы и космоса — как историю с определенным началом и концом (НИОР РГБ Ф. 684, К. 17, Е.Х. 1, Л. 53–54). Ее реконструкция, в свою очередь, нуждалась в синтезе точных и гуманитарных наук — это позволяло бы описать историю человечества как часть истории вселенной. При этом регулятивная космическая фатальность человеческого существования (которую Поршневу позднее связал с законом энтропии) не исключала активной роли человека в актуализации истории. Переписать историю, таким образом, значило изучить ключевые точки напряжений и социологические закономерности, сопровождавшие людей в их движении от начала к концу истории. Попытка логической и исторической реконструкции в КЧИ содержала несколько принципов, которые предопределили историографическую практику Поршнева. В их основу легла идея о разделении человечества разрывами/границами и вопрос о власти. Если вся предыдущая социология «изучала разные способы соединения людей», то Поршневу предлагал сместить фокус на «разрывы в связях между людьми» и «множественные границы, разделяющие группы и составляющие ткань человеческого единства». Эта задача включала в себя исследование нестабильности больших групп, асимметрии человеческих взаимодействий, а также напряжения, насилия и доминирования в культурной коммуникации. Поршневу концептуализировал власть как энергию, высвобождающуюся в разрывах между социальными и этническими группами, а кроме того — между индивидами. Он утверждал, что

реальное содержание общественных отношений, общества — это возможность воздействовать друг на друга, манипулировать друг другом, связанная с единственной социологической проблемой — проблемой власти одного человека над другим (НИОР РГБ Ф. 684, К. 27, Е.Х. 17, Л. 63).

Основной задачей для историка, таким образом, является выявление меняющихся форм власти в ходе человеческой истории. Их можно расположить между «полным автоматизмом подчинения (речевой механизм), не требовавшим усиления» и множеством последовавших итераций, «связанных с насилием, подчинением и средствами ослабления воли» (НИОР РГБ Ф. 684, К. 27, Е.Х. 17, Л. 64). Однако в человеческой истории власть становится продуктивной только через сопротивление ей на разных уровнях: от лингвистического сопротивления индивидуального сознания до коллективной борьбы масс. В сжатой форме Поршневу суммировал это так: «там, где нечего освобождать — нет свободы» (НИОР РГБ Ф. 684, К. 27, Е.Х. 15,

Л. 26). Подчинение и освобождение определялись им как два диалектически связанных процесса, сопровождающие человечество на пути к концу истории — именно на них требовалось обратить внимание историков.

Поршнеv осознавал широту своей программы и предполагал, что реализована она может быть только коллективно, а не индивидуально. Такая инициатива гораздо лучше вписалась бы в экспериментальный революционный ландшафт 1920-х с бесконечными возможностями построения институций и тесной связи между революционной практикой и интеллектуальной рефлексией. К концу 1930-х укрепление сурового постреволюционного порядка сделало невозможной реализацию подобных радикальных фантазий. Несмотря на это, желание Поршнева подвести черту под всей историей и надежда соединить рефлексию и практику так и не исчезли — остаток своей жизни он посвятил постоянным попыткам преодолеть глубокую несовместимость его революционных чаяний с ограничениями, накладываемыми консервативной современностью. Гибкость официальных академических интересов, которая смущала и раздражала его коллег, отражала настойчивые попытки незаметно разместить свой проект в жестких институциональных контекстах и политических реалиях. Проследить этот процесс отделения радикальных идей от революционных миров, в которых они выросли — это один из возможных способов очертить нисходящую траекторию самой революции. В таких обстоятельствах активистское требование подвести человечество ближе к концу было неизбежно нагружено искушениями, сложными решениями и возможными провалами. В момент эсхатологического предвкусения конца Поршневу было психологически легче не принимать во внимание репрессивную реальность, окружавшую его. Он пытался найти кратчайшие интеллектуальные пути, не впадая в диалектическую рефлексивность отчаяния. В конце концов, он был гегельянцем и его вера в силу идей резонировала с некоторыми идеологическими заявлениями репрессивного советского государства. Само существование идеократического государства с философом-королем на троне казалось соблазнительным.

Во второй половине 1940-х академическая карьера Поршнева достигла своего расцвета. Диссертация о народных восстаниях, опубликованная в 1948-м, получила Сталинскую премию, а его теоретические исследования классовой борьбы в истории обрели популярность и имели возможность стать новым каноном в контексте послевоенных идеологических кампаний. Несмотря на то, что эти исследования в каком-то смысле согласовывались с важными частями его невидимого проекта, распространение своих идей на тот момент Поршнеv видел исключительно как способ получить институ-

циональную и интеллектуальную власть. У него даже имелась дерзкая идея добраться до Сталина и перетянуть его на свою сторону силой аргументации, тем самым поставив революцию обратно на рельсы. Ультрагегельянские черновики КЧИ, написанные в конце 1940-х, симптоматично превозносили научный разум как подходящий двигатель изменений и приписывали проекту Поршнева ведущую роль в вопросе преодоления истории (НИОР РГБ Ф. 684, К. 27, Е.Х. 15, Л. 60б). На этих страницах он превратился в нищешанского Заратустру — героя, бросающего вызов социальным нормам с целью «изменить как можно больше» на пути к концу истории (НИОР РГБ Ф. 684, К. 17, Е.Х. 2, Л. 9). В реальности эти мечты реализовывались по гораздо менее возвышенному сценарию. Поршневу превратился в одного из участников сталинистских «научных войн» — сражающегося за ресурсы, пишущего разоблачения, ходатайствующего о поддержке Партии и лично Сталина. Коллектив советских историков ответил ему по-своему, успешно нейтрализовав дерзкого ликвидатора истории, который в конечном счете был вынужден раскаиваться в «субъективистском преувеличении роли классовой борьбы» (Рыжковский 2009; 2017).

В конце 1950-х Сталин уже был мертв, история не завершилась, а Поршневу продолжал жить. Его попытки переписать и исправить проект КЧИ отражали его надежды на то, что мир поменяет свой курс, или что распад революционного воображения, который он переживал в своей стране, замедлится. Перспектива тотального уничтожения человечества в ядерной катастрофе Холодной войны ужасала Поршневу и ставила под вопрос его собственное радикально-телеологическое видение конца истории. Это еще сильнее побуждало его довести проект — и, тем самым, саму историю — до конца. Теперь этого требовала не только «история, но космос» (НИОР РГБ Ф. 684, К. 17, Е.Х. 2, Л. 3–4).

По иронии судьбы он пытался решить эту задачу, пользуясь институциональными и финансовыми возможностями, которые появились в рамках холодной войны. Его розыски йети, начатые в конце 1950-х, изначально спонсировались советскими военными. Йети как ужасный «другой», помещенный в центр проблемы внутреннего антагонизма человечества, позволял Поршневу логически подтвердить гипотезу о двух инверсиях и в то же время оставался биологическим существом, демонстрация которого позволила бы показать истину и силу его историко-философского проекта. Провал попытки предъяснить «улику» и поймать это существо в конечном счете сделал невозможным вступление Поршневу в Академию наук (Поршневу 1968).

Простое перечисление стремлений и проектов Поршневу в этот период — включая попытки создать междисциплинарную платформу, объединяющую усилия естественных и гуманитарных наук, ин-

ституционализировать социальную психологию как дисциплину в структурах советской академии, поймать йети и продолжить работу об истоках человечества — стало бы огромным списком, с которым не справиться в одиночку. Попытка Поршнева переписать мировую историю — ключевая и эмпирически наиболее сложная часть его проекта — отражала как его возрастающую маргинализацию в неревOLUTIONной среде, так и невозможность в одиночку справиться с задачей, установленной в КЧИ. Тем не менее его философские размышления и открытия имели некоторые выдающиеся историографические результаты.⁴ Однако никакого желания связывать свои философские открытия с кропотливым ремеслом историка, исследующего и интерпретирующего новые источники, у Поршнева не было. Пытаясь заполнить слишком большое число пробелов самостоятельно, он все сильнее разрывался на части в своих исторических штудиях. Задача переписать историю, заявленная в КЧИ, была слишком велика и требовала коллективной работы. Но на тот момент не было ни одного советского коллектива, готового на такое.

Здание официальной советской всемирной истории, первые камни которого заложили в поздние 1930-е, было окончательно возведено к концу 1960-х в форме десяти монументальных томов (Жуков 1955–1965). Поршнев, изначально рассматривавший этот проект в качестве испытательного полигона для своих идей, переживал глубокое разочарование в конечном результате — он не видел в нем ни концепции мира, ни понятия истории, только «более или менее сложное собрание отдельных кирпичей» (НИОР РГБ Ф. 684, К. 17, Е.Х. 1, Л. 43). Эти кирпичи составляли фасад косного официального марксизма, за которым можно было найти вариации пошлого эмпирического позитивизма или мягких форм культурного релятивизма, ни одна из которых не была диалектической или революционной. Точно так же никто не находил полезными философские открытия Поршнева о всемирной истории. К 1970-м и охота на йети, и нелепая защита ортодоксального марксизма казались недоброжелателям Поршнева глупостью, чем-то из разряда статей о парапсихологии или о сверхъестественном, ценимых читателями научно-популярных советских журналов. Всю жизнь Поршнев гнался за постоянно исчезающим революционным горизонтом. В свои последние годы он, однако, не ожидал многого. Накануне 1972-го Поршнев перечитывал ворох рукописей в своем архиве и меланхолично размышлял

⁴ В частности стоит отметить попытку написать параллельную историю семнадцатого века, основанную на исследованиях народных восстаний в Европе раннего Нового времени (Поршнев 1970; 1995); короткое, но содержательное эссе о взаимосвязи истории варварского и римского миров (Поршнев 1964: 507–518), а также манифест о необходимости рассматривать мировую историю как единое целое (Поршнев 1969).

о судьбе своего так и не законченного проекта.⁵ Поршневу чувствовалось, что ему не хватает времени и энергии на завершение дела всей своей жизни. Он осознавал, что подобный способ философствования совсем не согласовывался с политическими и интеллектуальными ожиданиями того времени. Эта досрочная архивация проекта отражала не только неудачную судьбу его собственных идей, но и процесс архивации самой революции, революционных форм воображения будущего и прогрессивных форм восприятия времени. В своей последней дневниковой записи, написанной за десять месяцев до смерти, Поршневу завещал все фрагменты своего проекта будущему, ожидая, что их переоткроют не ранее, чем спустя полвека (НИОР РГБ Ф. 684, К. 27, Е.Х. 16, Л. 46).

После конца истории. Актуальность Поршнева сегодня

В своих прогнозах Поршневу, как оказалось, был прав. Однако, в 2011 году я был не первым из тех, кто прошелся по пыльным папкам и документам его архива в Российской государственной библиотеке. В 1990-е и 2000-е хватало интеллектуальных историков, историографов и других ученых, симпатизировавших Поршневу — все они обращались к архиву с целью исследовать научную ценность преследования йети. Возможно они, как и я, были сначала сбиты с толку содержанием архива, и поэтому решили молчать о желании автора достичь конца истории во имя революционной тотальности Истории. Для современной российской интеллигенции отношение к революции и ее наследию до сих пор говорит о степени интеллектуальной «вменяемости» гораздо больше, чем определение «паранормального», и для многих даже преследование йети может оказаться уместнее революционного проекта. Снова и снова перечитывать большое количество страниц, исписанных плохим почерком, меня заставляли странные параллели между основными те-

⁵ Первая часть трилогии КЧИ с названием «Палеонтология» была закончена только частично; вторая, черновик книги «О происхождении человеческой истории» была готова, а третья, которая должна была очертить траекторию человеческой истории и ее постисторический прогноз, существовала только в виде расширенных фрагментов и набросков. В начале 1970-х Поршневу пытался опубликовать вторую часть трилогии, «О происхождении человеческой истории», подвергнутую самоцензуре (все отсылки и логические связи с большим проектом КЧИ были удалены). Даже в такой форме рукопись не получила бюрократического одобрения академического аппарата. Сокращенная версия в конце концов была опубликована после смерти Поршнева в 1974 году. Полный текст стал доступен только в 2007 году — в издании, подготовленном Олегом Вите (Поршневу 2007).

мами, которые затрагивал Поршнев в своем проекте, и наиболее продвинутыми нынешними академическими, философскими и политическими дискуссиями на западе. В последнее десятилетие можно заметить триумфальное возвращение всемирной истории под видом «глобального поворота» в академии, а также рост интереса к проблемам антропоцена, постгуманизма и неантропоцентричным подходам к истории и политике. Что же тогда значит эта кипа архивных материалов, составляющих поршневскую КЧИ, и породивший ее опыт революционного поражения на фоне этих новейших разработок — в историческом, философском и политическом смысле? Каким может быть процесс их рецепции? Могут ли они ворваться (и если да, то как) в плавное течение интеллектуальных программ и политических дебатов?

Телеологический взгляд Поршнева на историю едва ли соответствует современным профессиональным стандартам; однако, его открытия мощно резонируют с концептуальными основаниями передовых рубежей профессиональной глобальной истории и исторической социологии. Конкретные исторические заявления Поршнева не всегда выдерживают проверки в контексте огромного количества новых знаний. Но его историографические замечания тесно связаны с исследовательскими вопросами и философским дискурсом вокруг истории. Всемирная история Поршнева отчетливо материальна и глобальна, амбициозно междисциплинарна, а в качестве своего предела предполагает возможность синтеза естественной и человеческой истории. В этом отношении его осмысление опыта революционного поражения сильно отличался от реакции западных марксистов (Anderson 1976) и советских коллег (Sziklai 1986) — и те, и другие размещали в центре своих критических работ культуру и сознание. Поршнев, напротив, стремился исследовать отношения между сознанием и окружающим миром, историзируя и онтологизируя их — это подход, впитавший мириады более скромных интеллектуальных прорывов революционной эпохи. В этом отношении поршневский философски искушенный материализм — не уникальный феномен, а указатель, ведущий в другое, до сих пор малоизученное измерение интеллектуальной революции 1917-го, которое было забыто или вытеснено с появлением доминантных культурных и лингвистических парадигм в социальных и гуманитарных науках второй половины двадцатого века.⁶

⁶ Более узкие исследования Поршнева в областях логики, когнитивных наук и археологии, которые я могу только лишь упомянуть, не могут быть рассмотрены вне его философской рамки и сами по себе заслуживают изучения. Одним из хороших примеров является недавняя публикация Артемия Магуна, в которой автор обсуждает поршневскую теорию происхождения человека и ее значимость для современных дискуссий на этот счет (Магун 2017). На фоне сегодняшних раз-

Представляя нетрадиционный взгляд Поршнева на всемирную историю, я хотел не просто сопроводить его идеи интеллектуальным или контекстуальным комментарием, но и поразмышлять в поршневом стиле, рассматривая их как часть незавершенной исторической тотальности. В этом смысле — и Поршнева это четко понимал — существует глубинная связь между всемирной историей как революционным процессом и всемирной историей как интеллектуальной практикой. Связь эта вписана в материальную тотальность истории с ее диалектическими циклами революционных побед и поражений. В контексте интеллектуальной истории эту диалектику с трудом можно схватить, не оценив негативности маргинальных пространств, породивших эмансипаторные интеллектуальные программы, с которыми был связан всемирно-исторический подход. Не менее важно понимать роль профессионализма и институционализации в последовавшей нейтрализации этих пространств. Просвещенческие универсальные истории и истории человечества инициировали эти циклы в развитии жанра всемирной истории — будучи не просто интеллектуальными предприятиями, но политическими жестами, они атаковали партикуляристские концептуальные основания традиционных сословных обществ во имя объединенного человечества. В то же время написание истории предполагало внедрение этой практики в новые и автономные пространства — для историков это значило подключиться к расширяющимся книжным рынкам, множась буржуазной аудитории, отказаться от официальной поддержки двора и частных патронажных сетей и нести универсальные взгляды на историю в буржуазные салоны и кофейни (Woolf 2014: 285–290). После Французской революции профессионализация истории, став результатом еще одной эпистемологической (контр)революции, обеспечила государству и нации привилегированный статус субъекта истории. От универсалистских претензий постепенно отказались как от ненаучных (Harbsmeier 1989). В результате «реальная» история должна была производиться только в лицензированных пространствах — университетах, поддерживаемых государством. К середине девятнадцатого века всемирная история, депрофессионализированная и дискредитированная, утратила большую часть своего космополитичного пафоса и была сведена к философствующей публицистике, популяризованной Гегелем для проведения цивилизованных европейских наций по телеологическому пути к неоспоримому глобальному доминированию. В рамках этого пути множеству колониальных или маргинальных европей-

работок в когнитивной археологии, теории материальной вовлеченности и др. до сих пор неопубликованная рукопись Поршнева содержит идеи телеологической онтологии сознания, способные вызвать интерес.

ских других, не вписывающихся в установленные рамки, отводилось место либо вне истории, либо в ее «зале ожидания» (Chakrabarty 2000: 8–9). Такое видение мира и истории сформировало ментальные, эпистемологические и институциональные основания западного доминирования по всему земному шару на протяжении долгого девятнадцатого века, проникая в университеты, министерства по делам колоний, а также на страницы популярных иллюстрированных книг для образованных представителей европейского среднего класса (Bergenthum 2004). Бросив вызов этой европейской модели, русская революция ознаменовала другой цикл пересборки пространств, институций и аудитории, не только дешифруя прошлое, но и предвосхищая общество будущего. Как показывает мое исследование, в этой миссии русская революция опиралась не на буржуазные кофейни, а на мощный культурный пласт интеллигентских кругов. Это был испытательный полигон синтеза художественных, интеллектуальных экспериментов и фантазий об историческом трансцендировании. Однако за этими очередными интеллектуальными прорывами последовала их полная нейтрализация и подчинение новым структурам политической и академической власти, а также новым эпистемологическим иерархиям, отвергавшим критический материализм в пользу нерелексивного культурного энциклопедизма с его «академизмом, музееманией и повсеместным запахом нафталина» (Debray 2007: 15). Как я показал выше, Поршнев пытался вмешаться в этот процесс отделения революционных идей от их инновационных социальных и материальных контекстов, но в итоге оказался неспособным ответить на вызов ультрапозитивистского и профессионального консенсуса интеллектуальной элиты как во времена Сталина, когда его академическое положение было на высоте, так и после, когда его рассматривали как пережиток сталинистского прошлого.

История Поршнева позволяет отследить схожую траекторию развития и отката на Западе. После Второй мировой войны, в атмосфере больших надежд на прогрессивные и даже революционные политические и культурные перемены, интерпретация Поршневым европейской истории Нового времени с ее фокусом на народное сопротивление государственному угнетению активно привлекала внимание европейских интеллектуальных и историографических кругов. Ему симпатизировали, среди прочих, британские марксисты, выпускавшие журнал «Прошлое и настоящее» (*Past and Present*), умеренный социалист и популяризатор «тотальной истории» Фернан Бродель, а также коллективы историков с окраин академической системы, которые считали свои попытки переписать историю в более материалистическом и универсалистском ключе политическим жестом против политических и интеллектуальных элит, дискредитиро-

вавших себя в ходе войны.⁷ Но к концу 1970-х Поршневу пропал с радаров западной историографии точно так же, как в Советском Союзе — его идеи не пережили еще один цикл революционного отката по следам 1968-го. Фрагментация поля прогрессивной политики после 1968 года в определенном смысле нейтрализовала послевоенный революционный импульс в рамках перестройки капиталистической системы. Парадоксальным образом ранее маргинальные и политически ориентированные исследовательские программы были нейтрализованы посредством их институционализации в раздробленных и все-толерантных университетских пространствах — этот процесс ознаменовал собой капиталистическую перестройку университетов. С начала 1980-х мечты об *интеллектуальной революции*, вдохновлявшие радикальные программы прошлого, заменялись более прагматичными бизнес-моделями интеллектуальных поворотов, которые не обременяли себя обязанностью представлять конечные цели этих поворотов. Рост институций в соревновательных условиях рынка знания способствовал профессионализации этих проектов, почти полностью лишив их политической негативности, оборвав их связи с маргинальными пространствами и публиками, превратив их в еще одно средство расширяющегося академического рынка.⁸

Неудивительно, что академическая сфера, обращаясь сегодня к глобальному (генеалогии которого может быть посвящена отдельная статья), следуя все той же логике профессионализации, институционализации и коммодификации без проблем признает радикальные политические версии глобальной истории. Легко интегрируются марксистские или неомарксистские ответвления — будь то «мир-системный анализ», постколониальная или деколониальная теория — до которых сложно добраться вне все более корпоративных уни-

⁷ Поршневу был членом транснациональной сети «Прошлого и настоящего», иногда печатался в журнале (Hill, Hilton, and Hobsbawm 1983). Он был частым гостем семинаров Броделя и ценил его работу, считая, что она местами была созвучна его собственной идее всемирной истории. Перевод книги о народных восстаниях во Франции семнадцатого века, отмеченной сталинской премией, поместил Поршневу в центр французских историографических дебатов — он стал возможен также благодаря издательской сети Броделя.

⁸ На макроуровне эквивалентом революционной фазы русской революции 1917–1928 годов. стало доминирование на Западе прогрессивных политических и гражданских движений, рожденных в тяжелых условиях революционного опыта 1945-го. 1968 год может указывать на революционное ускорение, схожее с появлением сталинизма в результате «революционного» Великого перелома 1929–1931 годов. — отмечая собой зарождение масштабной глобальной капиталистической системы.

верситетских сред (Keucheyan 2013: 22–23).⁹ Моя задача, однако, не предполагает ангажированной критики встроенности (чистой) критической мысли в (скомпрометированную) структуру академии. Я хочу привлечь внимание к историчности настоящего момента как еще одного момента в диалектике поражения, как я понимаю ее из Поршнева. Эта диалектика требует нового подхода к уже известному набору проблем — и потому она касается производства исторического знания. Наложение поршнеvской диалектики истории на диалектику его собственного революционного опыта предупреждает нас об опасности нерелексивной и деисторизированной апроприации идей русской революции в момент их юбилейной актуализации. В то же время, такое наложение призывает нас к историзации нынешних интеллектуальных и политических условий, в которых метод диалектической мысли Поршнева о поражении может обеспечить появление будущих эмансипаторных перспектив. Сложно и, возможно, преждевременно говорить, является ли нынешний подъем социалистических программ и прогрессивных движений в некоторых уголках мира простым зеркальным эффектом капиталистической глобализации или началом нового революционного цикла. Но для критических левых найти ответ на этот вопрос значило бы определить свое место в череде исторических циклов революционных прорывов и откатов, а также найти новые типы синтеза интеллектуальной рефлексии и революционной практики. В настоящей интеллектуальной и политической ситуации ставит задача не просто в том, чтобы производить новое радикальное знание (университет — это фабрика, успешно выполняющая эту функцию), но и в том, чтобы заземлять его в существующих и вновь воображенных пространствах, а также в различных конкретных пубliках.¹⁰

Поршнеv любил использовать образ горного хребта для описания процесса человеческого самопознания. Путь от одного пика к другому может проходить только через спуск в долину, после которой начинается новый подъем. В настоящий момент, как мне кажется, критическая мысль должна не просто радоваться достижению пиков, но и уметь ориентироваться на извилистой и сложной тропе между хребтами, которая делает возможным еще одно возвышение.

Перев. с англ. Никиты Сафонова

⁹ Одним из первых приходит на ум в качестве примера приватизации и корпоратизации знания вопрос привилегированности свободного доступа к академическим журналам и публикациям.

¹⁰ Содержательное обсуждение множества путей, которыми движение Оккупай повлияло и вписалось в академию, а также проблемы интеграции пубliки, стоящие перед университетами и интеллектуалами, можно найти в недавней книге Майкла Кеннеди (2015: 118–49).

Библиография

- АРАН — Архив Российской Академии Наук.
- Жуков, Евгений (1955–1965). *Всемирная история в 10 томах*. М.: Государственное издательство политической литературы.
- Кондратьева, Тамара (2012). «Б.Ф. Поршнев читает Бакунина». *Вестник Тюменского университета. Серия История* 2: 210–14.
- Лукин, Николай (1937). «Основные проблемы построения всемирной истории». *Историк-марксист* 3: 3–23.
- Магун, Артемий (2017). «Диалектика истории Бориса Поршнева». *Stasis* 5.2: 476–509.
- НИОР РГБ — Научно-исследовательский отдел рукописей Российской государственной библиотеки.
- Поршнев, Борис (1926). *Горсоветы и работница*. М.: Ленинград.
- Поршнев, Борис (1964). *Феодализм и народные массы*. М.: Наука.
- Поршнев, Борис (1968). «Борьба за троглодитов». *Простор* 4: 98–112.
- Поршнев, Борис (1969). «Мыслима ли история одной страны?» В кн.: *Историческая наука и некоторые проблемы современности*, М.: Наука.
- Поршнев, Борис (1970). *Франция, Английская революция и европейская политика в середине XVII века*. М.: Наука.
- Поршнев, Борис (1974). *О начале человеческой истории*. М.: Мысль.
- Поршнев, Борис (2007). *О начале человеческой истории*. М.: Мысль.
- Рыжковский, Владимир (2009). «Советская медиевистика and beyond (к истории одной дискуссии)». *Новое литературное обозрение* 97: 58–89.
- Рыжковский, Владимир (2017). «Был ли у русской революции свой Гегель?». *Гегфер*. <http://gefter.ru/archive/22681>.
- Anderson, Perry (1976). *Considerations on Western Marxism*. London: Verso.
- Bergenthum, Hartmut (2004). *Weltgeschichten im Zeitalter der Weltpolitik: Zur populären Geschichtsschreibung im wilhelminischen Deutschland*. Munich: M-Press.
- Chakrabarty, Dipesh (2000). *Provincializing Europe: Postcolonial Thought and Historical Difference*. Princeton, NJ: Princeton University Press.
- David-Fox, Michael (2015). *Crossing Borders. Modernity, Ideology, and Culture in Russia and the Soviet Union*. Pittsburgh: University of Pittsburgh Press.
- Debray, Régis (2007). “Socialism: A Life Cycle,” *New Left Review*, 46, (July-August): 5–28.
- Feldner, Heiko (2003). “The New Scientificity in Historical Writing around 1800.” In *Writing History: Theory and Practice*, eds. Heiko Feldner, Kevin Passmore, and Stefan Berger, 3–22. London: Bloomsbury Academic.
- Halfin, Igal (2000). *From Darkness to Light: Class, Consciousness, and Salvation in Revolutionary Russia*. Pittsburgh: University of Pittsburgh Press.
- Harbsmeier, Michael (1989). “World Histories Before Domestication: Writing Universal Histories, Histories of Mankind and World Histories in 18th Century Germany.” *Culture and History* 5: 93–131.
- Hill, Christopher, Rodney Hilton, and Eric Hobsbawm (1983). “Past and Present: Origins and Early Years.” *Past and Present* 100: 3–14.

- Joravsky, David (1961). *Soviet Marxism and Natural Science, 1917–1932*. New York: Columbia University Press.
- Kassof, Brian (2005). “A Book of Socialism: Stalinist Culture and the First Edition of the Bolshaia sovetskaia entsiklopediia.” *Kritika: Explorations in Russian and Eurasian History*, 6.1: 55–95.
- Kennedy, Michael (2015). *Globalizing Knowledge. Intellectuals, Universities, and Publics in Transformation*. Stanford: Stanford University Press.
- Keucheyan, Razmig (2013). *Left Hemisphere: Mapping Critical Theory Today*. Trans. Gregory Elliott. London: Verso.
- Porchnev, Boris (1963). *Les soulèvements populaires en France de 1623 à 1648*. Paris: S.E.V.P.E.N.
- Porshnev, Boris (1995). *Muscovy and Sweden in the Thirty Years’ War, 1630–1635*. Ed. Paul Dukes, trans. Brian Pearce. Cambridge: Cambridge University Press.
- Sziklai, László (1992). *After the Proletarian Revolution. Georg Lukács’s Marxist Development, 1930–1945*. Trans. Ivan Sellei. Budapest: Akadémiai Kiado.
- Wolf, Daniel (2011). *A Global History of History*. Cambridge: Cambridge University Press.